

Хроника современной литературы

Ольга Балла

Нлдугбд, дзгом, трамбл димбл иц

DOI: 10.53953/08696365_2024_186_2_274

Конаков А. Дневник погоды (дисторшны)

СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. — 168 с.

Алексей Конаков — критик, литературовед, поэт, эссеист — в своей, кажется, первой опубликованной художественной прозе, уклоняющейся от типовых жанровых определений (ближе всего — к повести), — прямой наследник ленинградской неофициальной культуры позднесоветских десятилетий (ее он как специалист по этому периоду литературной истории и исследует, как нам известно хотя бы по вышедшей семь лет назад его книге «Вторая вненаходимая: очерки неофициальной литературы СССР» и по вышедшим пятью годами позже книге «Убывающий мир: история “невероятного” в позднем СССР» и монографии о «поэтике подполья» Евгения Харитонова), но не только ее, а и гораздо глубже. В «Дневнике погоды» Конаков выходит за пределы эпохи, интересующей его как исследователя, и занимается душевным устройством и картиной мира персонажа, лишь на



первый взгляд способного показаться экзотичным и маргинальным. Ну, говорить о маргинальности, она же эксцентричность (удаленность от всего, полагаемого центром), тут некоторые основания найдутся, — герой наблюдает мир, забившись глубоко в собственный угол: «Мне интересном¹ пассеровать репчатый лук. (И еще мне интересном жить принципиально мимо вашей агенды» (с. 100). Да выборматгвывает впечатления от наблюдаемого на персональном идиолекте — не то чтобы самоизобретенном, скорее самоскладывающемся, растущем из его душевно-умственных извилин и изломов. Тут впору говорить о звучащем внутри него постоянным фоном, изъясняющемся на этом идиолекте внутреннем радио, на передачи кото-

1 Нет, не опечатка.

рого то и дело накладываются неожиданные, комкающие речь помехи: «чб орд ж», «нлдугбд», «дзгом», «трамбл димбл иц» (с. 39—41)... (Интересно было бы продумать, как устроен его язык: здесь явно есть и устойчивые элементы — скажем, непрменная согласная в конце наречий «всегда» и «никогда», регулярные сбои падежных форм — и вообще если не система, то тяготение к ней.) Словно внутренний звукопроизводящий, смыслопроизводящий механизм вдруг слетает или ломается — открывая дорогу звукам иного порядка, демонстрируя хрупкость, уязвимость, проблематичность человеческого как такового. Однако и вне помех речь то и дело сбивается, комкается, реагируя на какую-то внутреннюю сейсмику, из-за чего и лексика, и синтаксис сбиваются с насиженных мест, приобретают нетипичный облик: «в шахматы бы ни о чем сыграть», «пятогом декаблям» (с. 40, 48). Но вот экзотики точно никакой: это же узнаваемый тип излюбленного классической русской литературой XIX века «маленького» человека, мелких чиновников Достоевского и Гоголя: Макар Девушкин, Акакий Акакиевич Башмачкин... Типы на то и типы, что не исчезают, а всего лишь воспроизводятся на разных — пусть и до неузнаваемости — материалах. А тут материал даже узнаваем: это все тот же Петербург, воздухом которого дышали, из воздуха которого сгущались, чтобы вновь раствориться в нем, предшественники дневниковисца двух предшествующих столетий.

(Вообще генеалогия тут многообразная; иногда и голоса платоновских персонажей можно расслышать: «Стакан чая не выпить, как тесно от² жизни», «ступать на планету нужно с трепетом» (с. 51, 68).)

«Ох, видели бы мы, что появляется за теми слоями по ночам [горько плачущие сестры Пляды, зловещий глаз быка Альдебаран] — не жаловались бы на обложную облачность ноября!» (с. 41).

Повествователь чрезвычайно далек и от непросвещенности, и от неграмотности. Маргинальность его не в том, что он, скажем, необразован или узко мыслит (мыслит он так широко, как не всякому немаргиналу снилось). Он начитан куда более среднего: и Ги Дебор ему знаком, и в Бахтина он по крайней мере заглядывал — знает слово «хронотоп», — и Докинза читывал (к которому превесьма скептически и при случае его ругает). Себя он именует «нигилистом» (и вновь оммаж XIX веку). Он и в социуме укоренен неплохо: в отличие от, допустим, тех же Макара Девушкина или Акакия Акакиевича, у него есть семья: жена Ася, ни разу по имени не называемые дочь и сын, оба явно школьники, и не всякому видимый сэр Енот в коридоре — «воображаемый фамилляр, виртуальный помощный зверь, упрощающий на первых порах практику собственно нигилизма» (с. 39), — своя квартира и даже дача, на которой в конце концов... ой нет, не будем забегать вперед. Он даже работает — инженером, отправляясь каждый божий день «на свою инженерную (инженерную) службу» (с. 87).

«Маленький» же этот человек всего прежде потому, что постоянно чувствует (пугающую, в конечном счете, — вот и правильно) огромность мира, которую и не мыслит покорить, понять или вообще освоить, ненадежность его, с которой и не мыслит справиться, и свою слабость и незащищенность перед этим миром, с которой точно ничего не поделаешь. А «нигилист» — потому, что ни одной из ценностных систем окружающего его социума он не разделяет. Ни одна не защищает и не утешает его. А он этого и не ищет.

«Тайная цель любой инженерной работы состоит в постижении жуткой, чудовищной ненадежности мира. Вещи только кажутся твердыми и устойчивыми, но

2 Не опечатка и тут. Дневниковисец изъясняется именно так; у его идиолекта есть и орфографические аспекты: идиография.

это одна поверхность (внутри же копяты циклы нагружений, истончаются коэффициенты запаса, растет паутина микротрещинок). О, лучше бы и не заглядывать в ту изнанку, не знать никогда, на каких хлопких и призрачных нитях висит цивилизация» (с. 87–88).

(Своеобразие его мировосприятия отчасти объясняется — его же устами — грубой физической причиной, травмой в детстве: «Оттого ли ты так зол, что зимма на дворе? Вовсе нет (нет) — просто много десятилетий назад упала в голову полка с оловянными салатиками (солдатиками), нарушила мне всю френологию» (с. 49). (Так что и гоголевские «Записки сумасшедшего» несомненно в прямых предках этого текста; у Аксентия Ивановича есть нечто общее в речевой манере и внутренних движениях с конаковским дневникомписцем, разве что межчеловеческими отношениями и социальными обстоятельствами последний озабочен куда менее первого. Но понятно же, что нужен был повод для создания герою сверхобычной восприимчивости — отчего бы и не такой?)

Нередко этот человек с как бы искаженным восприятием обнаруживает исключительную ясность видения: «Хм, вообще-то нигилизм — *форма гигиены* в мире, где постоянно пытаются навязать базовую подписку, выгодный кредитом, пробное занятие бесплатно и массу прочих других промокодов; вроде бы уже привык отказываться, а вот айвл угум ццм» (с. 89).

В метеорологически-экзистенциальном дневнике повествователя без труда узнается и влияние «Записок о чаепитии и землетрясениях» Леона Богданова (ведь и за его текстом стоит «маленький» — на самом деле сжатый в плотную-плотную точку и чрезвычайно интенсивный внутри нее — ленинградский-петербургский подпольный человек; кстати, наш дневникписец его читал и хорошо представляет себе, кто это такой! — в одной из записей он Богданова упоминает). Впору подумать иной раз — едва ли не прямое цитирование, но все-таки нет, — можно говорить (помимо роднящего их чувства близящейся катастрофы и стремления отследить приметы ее приближения) о сходстве интонационном и формальном; и сходство тут особого рода — как и с другими, выше помянутыми образцами, — его можно назвать *спорящим* или, по крайней мере, *диалогизирующим*. Безымянный повествователь Конакова делает нечто очень похожее на то, что писал богдановский хроникер чаепитий, землетрясений и попутных чтений, — с важными отличиями. Среди отличий наименьшее и практически несущественное — то, что герой Конакова пишет свои записки, по всем приметам, в условные «наши» времена — то программу ватсап упомянет, то зум со скайпом и «ВКонтакте» (которые, впрочем, готов «отрицать» (с. 52)), то вдруг Илона Маска, — подобно повествователю Богданова, конаковский герой живет в собственном временном и смысловом потоке. Его записи датируются, но года он не указывает никогда... ой, то есть никогда (вычислить не составит труда: вот в записи от 31 декабря провожают год «металлургического быка», встречают год «металлургического тигра» — похоже, 2022-й, современники вправе насторожиться и ждать соответствующих высказываний, — но случайно ли зодиакальные координаты указаны, а те, что указывают на конвенционально понимаемый ход истории — нет? Спойлер: нет, *соответствующих высказываний* современник не дождется. Еще спойлер: да мы с дневникписцем уже и не современники). Что ему точно неважно, так это большая история с ее событиями. От забот, связанных с этим событийным пластом, он вполне свободен, — легко заметить, что собственный город он нет-нет да и назовет именем из давнопрошедшей жизни, «Ленинградом», все это не существенно, — его занимают предметы куда более фундаментальные. Гораздо судьбоноснее, ближе к сути всего происходящего ему (казалось бы) сиюминутное, переменчивое и ни в какой истории не укорененное — актуальные метеорологические показатели.

Он регистрирует их с неукоснительной точностью и каждую запись предваряет именно этим:

«15.11, +1°C, малооблачно, ветер (ЮЗ) 5 м/с, атм. давл. 777 мм рт. ст., восх. 8:52, закат 16:32» (с. 39).

А важно это потому, что имеет прямое отношение к состоянию мира в целом и его судьбе, — как и сквозное понятие, время от времени появляющееся в тексте и важное настолько, что вынесено в заголовок «Дневника»: *дисторшн*. Взято оно из музыкальной практики: дисторшн (он же же «дистошн», «дисторция» от английского *distortion* — «искажение») — это «звуковой эффект, достигаемый искажением сигнала путем его “жесткого” ограничения по амплитуде»³ или устройство, которое такой эффект обеспечивает. «Наиболее часто», объясняет нам «Википедия», дисторшн «применяется в таких музыкальных жанрах, как хард-рок, метал и панк-рок в сочетании с электрогитарой, а также в хардкор-техно и особенно в спидкоре и брейккоре с драм-машиной. Иногда этим термином обозначают группу однотипных звуковых эффектов (овердрайв, фузз и прочие), реализующих нелинейное искажение сигнала. Их также называют эффектами “перегрузки”, а соответствующие устройства — “искажателями”»⁴. (Слово «фузз» кажется испешшим из уст конаковского героя, не правда ли?)

Дисторшны конаковского хроникера — это искажения, вносимые (неведомыми, в конечном счете, силами; хроникер, впрочем, почти уверен, что это захватившие мир рептилоиды) в устройство мира («Коли ты семьянин, уж будь добр, ступай понаружу, в ноябрь, в дисторшн» (с. 45)), нарушения того, что человек рад принимать за норму существования — если, конечно, достаточно простодушен и недалек, чтобы обманываться. Наш хроникер не таков. Он не обманывается.

Об этих искажениях — и о состоянии бытия в целом — он только и думает, об этом только и чувствует, и пишет. Его волнует судьба человечества.

Настроенный всем, в этих записках происходящим, читатель ждет под самый конец если и не рифмы «розы», то хоть какой-нибудь уже рифмы — то есть чего-то, что следовало бы из сказанного прежде с той или иной степенью логичности (нашли у кого логику искать, в самом-то деле. И тем не менее). Но нет: все обрывается (хम्म, если это можно назвать обрывом... скорее закольцовывается, что ли) небывалым, непредсказуемым образом. Не оправдывается даже ожидание, лежавшее, казалось бы, на самой поверхности и кричавшее о себе едва ли не криком: все-ленской катастрофы. Дневникписец и сам вначале более-менее смутно ждет чего-то такого (предполагая разные причины: от рептилоидов до того, что количество созданных людьми механизмов «начнет замедлять движение планеты», пока наконец не наступит тьма, которая «не закончится уже никогда» (с. 154), а под конец и не сомневается в этом: «Корка повседневности стремительно скукоживается и скоро отвалится на-сов-сем» (с. 158).

Впрочем, катастрофы на то и катастрофы, чтобы опрокидывать все мыслимые ожидания. Повествователь вместе со своей дачей, на которой проводит последние летние дни (и весь ли мир в целом с ним вместе? — вопрос открытый), застревает во времени.

Последняя и, похоже, отныне единственная дата записок — 31 августа. Это именно время, а не, скажем, посмертие с его вечностью: метеорологические хроники продолжают, и видно, что это *разные тридцать первые августа*: у них разная температура воздуха, разная облачность, разное направление и сила ветра, разное атмосферное давление, но... восход неукоснительно в 5:47, закат неминуемо в 20:09. Время есть — но оно не движется.

3 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дисторшн>.

4 Там же.

«Жизнь не закончена — просто пропала. Какое найти этому имя?

Да все же знают.

Поражение. *Искажение. Дисторшн*» (с. 160).

И тут читательское воображение срывается с цепи и начинает выдвигать предположения одно интереснее другого. Сошел ли герой с ума окончательно? Вряд ли: манера его речи несколько по сравнению с более ранними временами не изменилась. Попал ли он в другой, отличный от нашего временной канал? (Ася и дети непостижимым образом исчезли из его жизни — 15 августа они упоминаются уже в прошедшем времени: «Ася тоже ценила чайники <...> но где теперь Ася? Где дети? Где счастье? Нет ничего, никого нет. Нет и нет» (с. 155). Остались ли они в прежнем — в нашем временном канале?) Что к этому привело, где была точка перелома? Хитро устроенное повествование однородно: эту точку не нащупать, перемена замечается, когда уже произошла: «Стоило аэ ои щцц засмотреться на позднюю нарядную звезду, как щелкнул Ореховый Спас, хлопнула приготовая ловушка. Остановилось время» (с. 160).

Что все это в целом суждение о поврежденности и обреченности мира — несомненно. Что это суждение также — о неподконтрольности происходящего в мире человеку (без логических, заведомо уязвимых аргументов, на уровне охватывающего человека целиком и передаваемого одним только гулом слов, их звуковой плотью, ощущения — как в стихотворении), — несомненно тоже. Радикальное онтологическое предположение о том, как — опять же неподвластным человеку и малоописуемым для него образом — устроен мир? Почему бы и нет.

«Ъэлзв, гредциц тэ дууф» (с. 145).